



БЫВШИЕ СЛУГИ Л. ТОЛСТОГО: С. Н. Румянцев — повар, А. П. Елисеев — кучер и М. Д. Зорин — егерь

Три свидетеля

Очерк Александра Дроздова

В Ясной Поляне я люблю говорить с крестьянами: многие из них служили у Толстого в усадьбе, и воспоминания их неразлучны с жизнью автора величайших в мировой литературе страниц.

Здесь я привожу рассказы троих крестьян. Они были косвенными участниками яснополянской трагедии, разразившейся в октябре 1910 года. Сейчас крестьяне эти, служившие у Толстого, снова вернулись к земле. При жизни Льва Николаевича Адриан Павлович Елисеев был кучером, Семен Николаевич Румянцев — поваром, а Михаил Деметьевич Зорин состоял в охотниках, ведал псарней и принимал непосредственное участие в набегах Толстого на зайцев и лисич.

1. Адриан Павлович Елисеев

Русский выездной кучер, особенно «барский» кучер, имел сановитую осанку, печать каменной величавости на лице и плавные, слегка замедленные движения. Адриан Павлович, кучер Льва Николаевича, доныне сохранил все эти черты. Правда — по словам Адриана Павловича — толстовские кучера гордой славой не пользовались: одеты всегда были бедно, не по кучерскому канону тех лет, и упряжь на лошадях была захудалая. Но все-таки Адриан Павлович был графским кучером.

Сейчас это красивый, полный сил старик, поразительно напоминающий Тургенева последней полосы жизни: аккуратная седая борода, высокий лоб, пристальные глаза, тургеневские немного сладкие губы. Он словоохотлив, но сдерживает себя, и создается впечатление, что Адриан Павлович знает цену своему слову. Судьба судила ему снарядить Льва Николаевича в его по-

следний путь. В мятежную ночь ухода Толстого вместе с доктором Маковицким ночью, в дождь, в ветер разбудил его и, пронзая темень светом карманного электрического фонарика, велел запрягать.

Эта ночь осталась в воспоминании Адриана Павловича ночью злой, осенней непогоды и душевной тревоги, которую он осознал много позже. Сам он в таких выражениях рассказывает о растерянном бегстве Толстого из дома:

— Я запряг. Подал. Такая была темь, что, когда надевал хомут, своих рук не видел. Спросонку рассудить не мог: едет, мол, граф к поезду, мое дело исполнять приказ. А потом гляжу, сели они вместе с доктором, и Лёв Николаич мне ни слова. Все с доктором, и обязательно по-французски, да по-латыни. А уж этакая темь, едешь, как в преисподнюю валишься. Мы взяли здесь верхового, и он ехал впереди с факелами. Так с факельщиком проехали деревню полем, а у кладбища Лёв Николаич велел факельщика отпустить.

И безоговорочно он с доктором по-латыни, да по-французски, а я здесь прозрел, что его сиятельство не прост, и перепугался. Видать сразу, что едет Лёв Николаич налегке, взволнованный, и то говорит, то умолкает. Перепугался я тогда до последней жилки.

Приехали на станцию Щёкино. Лёв Николаич вылез из повозки, поотряхнулся, и такое непередаваемое у него лицо, а собой суров.

— Ты, — говорит, — скажи Александре Львовне, Адриан, шапку я там в кустах сбросил.

Пожалел, как видно, шапку. Я с перепугу ему:

— А мне, ваше сиятельство, не придется за это самое ответа перед Александрой Львовной держать?

Он говорит:

— Не придется, не бойся.

А сам стоит, и, вижу, прошибает его дрожь, даже прозяб дорогой. Тогда доктор Маковицкий его спрашивает:

— Как же, Лёв Николаич, может, скажете что Адриану на прости-прощай?

Лёв Николаич махнул рукой:

— Ничего не скажу.

И пошел на станцию не оглядываясь.

С меня, действительно, никем взыскано не было, ни Александрой Львовной, ни Софьей Андреевной, а уж на что в гневе была графиня. Только один студент взыскал. Студент, этот взыскал. Это когда хоронили Льва Николаевича. В Ясной Поляне тогда народу было — на счетах не сосчитать. Помню, как несли графа по припекту, один кино на ворота влез и там крутил, а другой влез на дом и отбеда в лоб брал. Да как поднесли гроб к дому, кино и не выдать, он все выше лезет, на крышу, а ему все не выдать. Очень тогда огорчился тот кино. Вот тогда, в то самое время, подходит ко мне студент лицом молодой и румяный, характером наскокистый, и говорит:

— Ты знаешь, кучер, что ты такое наделал, какое такое преступление совершил, что графа ночью, в стужу, говорит, повез? Ты знаешь, какой это человек через тебя помер? Великое солнце мира закатилось навеки!

Так он мне тогда, из души, рассказал все в полной мере. А годков ему, приблизительно, не больше осьмнадцати. На губах усы, как птичий пух. Слезы у него по ще-

кам текли. Я студента того вот, как живого, посейчас перед собой вижу.

2. Семен Николаевич Румянцев

Семен Николаевич Румянцев служил у Толстого поваром. Тайна плиты и сковородок перешла к нему от его отца, крепостного господ Волконских, повара, искусство которого ценили все окрестные помещики-хлебосолы. Свою службу у Толстых Семен Николаевич вспоминает нежно, с добрым чувством. На кухне он был хозяином полновластным, вкусы своих хозяев знал наизусть и вскоре сделался незаменимым человеком. Вместе с Толстым он ездил в Крым и позже оставался в усадьбе вплоть до развала семьи.

Лев Николаевич, часто болея желудком, ходил к нему на кухню и, сдвигая брови, говорил:

— У меня, Семен, сегодня желудок ба-лует. Сделай-ка ты мне...

По утрам Семен Николаевич составлял два меню: вегетарианское—для Льва Николаевича и мясное—для прочих членов семьи и для гостей. Эти два меню шли на утверждение Софьи Андреевны.

Когда-то, во времена Толстых, Семен Николаевич был телом необъятен, теперь, как он сам говорит, и четверти былого не осталось. Теперь Семен Николаевич среднего роста, все еще крепкий, на совесть спитый круглолицый крестьянин. Нос его как бы расщеплен надвое. Черная борода огибает его широкий подбородок. Он ходит петоропливо и говорит расстановисто; он гордится тем, что близко знал Толстого, и воспоминания его не отравлены ни малейшей досадой, досадой, которую я подмечал у большинства крестьян Ясной Поляны.

Очень интересен его рассказ о Ясной на следующий день после ухода Льва Николаевича. Здесь я привожу его в девственном виде.

— Утром я, как всегда, на кухне—мое дело таково, что требует от человека все-сторонней аккуратности. Однако спускается на кухню Александра Львовна, и я вижу, что они взволнованы или, больше того, не спали, быть может, ночь. Я у плиты готовлю обычный завтрак.

Александра Львовна подошла и говорит:

— Семен,—говорит,—ты знаешь, Лёв Николаич уехал?

Я не понял и отвечаю:

— Дай бог счастливо. В Москву уехали?

— Нет, Семен, он совсем уехал. Он не вернется больше.

— Со-всем?

Взглянул я на нее и понял всю правду. Понял я, что покинул дом великий писатель земли русской Лёв Николаич Толстой. Александра Львовна стоит передо мной и так чрезвычайно взволнована, и так всем своим лицом чрезвычайно расстроена и бледна. Я как был у плиты, как держал в руке кофейник, так, поверите ли, вдруг затемнело в глазах, и уже не вижу, куда поставить мне кофейник. Да. А потом по ногам холод и по всей спине озноб.

— Ну, думаю...

Потом Александра Львовна говорит, что оставил его сиятельство письмо для Софьи Андреевны, а передать его страх берет.

Однако, как всегда, я приготовил завтрак. Я у них в доме был как свой человек, доступный. Вот я поднялся, наверх, в столовую, и смотрю, как тут быть. Софья Андреевна пришла ко столу пить кофей, ничего еще не слышала и не знает, ко столу села спокойно, не чувствует, какое ей готовится горькое смущение. Здесь подошла к ней Александра Львовна и протянула письмо.

Она подвинулась сначала, но не очень. Стала распечатывать. И тут из ее глаз слезы хлынули. Конечно, в нашей крестьянской жизни всякого горя хлебает ложкой, как похлебку, и разного горя видишь каждый день океаны-моря, а здесь я очень перепугался за ее сиятельство Софью Андреевну. Она подняла глаза, будто ничего не видит, и в глазах ее дикое.

Говорить ли?

Да уж скажу, это дело прошлое. В тот день был дождик и ветер, так холодно, что, того гляди, ляжет снег. Кинулась Софья Андреевна наружу, в чем была. Бежит по саду, мимо парников, под кручу. За ней я, Александра Львовна, Булгаков Валентин Федорович, еще кто-то, сейчас не помню. Дождик, ветер, холод. Да. Графиня свернула и прямо — к пруду. И гляжу: упала она грудью на мостки, как скошенная. Лежит, и треплет ветер ее платье. Потом покатила по мосткам, к самому краю и, с мостков, — в воду.

Я, как первый бег, со всего с бегу за ней в пруд. Вода в октябре холодная, жжет, и такое тело тяжелое у графини, что, ба-тюшки мои, думаю, не вытащу. И сам ведь, ясно, с быстрого бегу уныхался. Да. Здесь подоспела Александра Львовна, спасибо ей, и вдвоем мы с ней графиню едва-едва из воды вытащили.

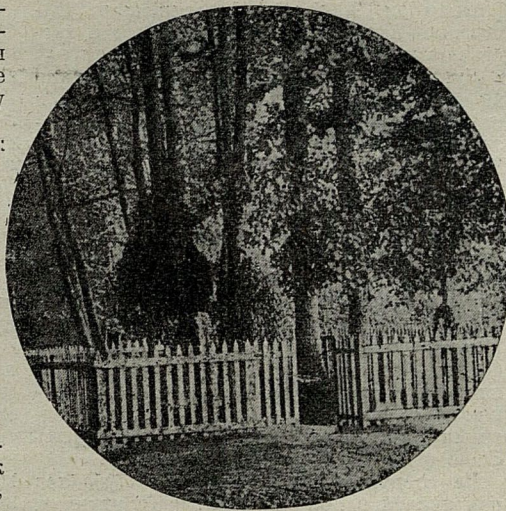
Отнесли мы графиню в дом. И во всем доме такая тишина, как в бору. По комнатам ходят люди, и шагов их вовсе не слышать. Только проходил время, Софья Андреевна отдышалась и опять прямой дорогой — в сад. Не может, как видно, вырваться и умять этой мысли. Однако уследил лакей Ванюша, сейчас же за ней следом и схватил ее за руку.

Сам говорит:

— Ваше сиятельство...

Она как рванется от него. От гнева вся побелела.

— Как ты смеешь, — кричит, — меня за



Могила Толстого

руки держать! Забыл, кто ты есть и кто я есть над тобой!

Графиню мы сообча все же устерегли. Тяжелые, тяжелые дни тогда жились в Ясной Поляне, теперь вон уж сколько лет прошло, восемнадцать или более, и в усадьбе теперь новый порядок, и в Рассее, и Лёв Николаич под холмом лежит, и я на крестьянство сызнова сел, а вот как вспомнишь про это, вот как перед вами, чтоб за примером недалеко ходить, и весь тут израсстроишься до последнего дня.

Конечно, графиню теперь, после гроба,

легко осудить, и мало таких людей, у которых в характере заключается совершенность. Ежели графиня перед Лёвом Николаичем и была виноватая, так какая жена своему мужу не виноватая? Виноватость ее ей горькой бедой вышла. Когда поехала в Астапово, где Лёв Николаич помирал, так к его одру допущена не была. Она на дверь, сказывают, навалилась всем телом, а оттедова, изнутри, другие навалились, не пускают. Так и не узрела его. Так, рассказывают видевшие, с каким-то архиереем за-зря до самой кончины у запертой двери и просидела, архиерей тоже допущен не был. Архиерею что — он для людей, а Софья Андреевна для своего женского сердца. Вы как знаете думайте, а я Софье Андреевне бессознательно сочувствую.

3. Михаил Дементьевич Зорин

Ему сейчас семьдесят второй год, веки глаз его красны и полны слез, но он трудолюбиво ходит по земле, и земля легко его носит. Хорошее, открытое, заросшее седой бородою, равно ко всем любовное лицо, узловатые руки. Сейчас он служит ночным сторожем в яснополянской школе-девятилетке, и десятник, который строил школу и гордится ею, говорит о нем, как о родном отце:

— Михайла Дементыч? Да он молодого работе научит! Да он... да, эх!

При Толстом Михаил Дементьевич состоял в охотниках, на нем лежала псарня, и он видел весь розмах широких помещичьих толстовских охот. О собаках Льва Николаевича, которых помнит по именам, он до сих пор говорит со слезою, как о детищах своих.

Когда тело Льва Николаевича на плечах своих принесли в Ясную студенты, Михаил Дементьевич рыл могилу. Он рыл могилу в том самом месте, где зарыта «зеленая палочка», среди леса, на небольшой полянке, вплотную подошедшей к лесному срыву. Деревья стояли тогда без убора. Лес был голым и сквозным. Тленно и терпко пахли палье листья, и мертво лежала на земле рыжая пыль хвой.

— Рыл я могилу,—рассказывает Михаил Дементьевич,—было чижало, земля в октябре, сынок, промерзлая. Венков на могилу нанесли видимо-невидимо: как покрыли могилу венками, так выросла цельная гора повышей моего роста. Были венки и так себе, были и серебряные, с лентами, с надписями, и, чтоб не растащили тех венков, так меня по ночам приставили сторожить.

Ночью стоишь, и жутко. Я хоть в лесу рос, а здесь покойник лежит без креста, мыслей по такому случаю, что лезом мух в избе. И холодно. Дрожь дрожь. Студенты здесь, спасибо им, спроведать приходили, иной и вина из-под шинельки поднесет.

Так вот со мной случились какие нервы. В октябре месяце, сам знаешь, слабый рассвет, хилый, без солнца, и поздно начинается светать. Так вот стою я на рассвете один возле могилы, и как вскинется мне в память. Ах ты, думаю, мать честна! Сел я, сынок, у ихней могилки, да и в голос, по-бабы:

— Ваше, говорю, сиятельство, Лёв Николаич, спасибо тебе, что мне, как я погорел, четвертый дал. Только зачем, говорю, ваше сиятельство, Илье Львовичу всех собак потащивал? Ведь загубил он их, за копейку спустил, а какие собаки были, цены тем собакам, Лёв Николаич, нет!

Такие со мной страшные случались нервы. Ну, с зарей поуспокоился, в чувство пришел. Потому, что с зарей к человеку, сынок, приходит денной разум.